



Л. М. ЛОПАТИН

Больная искренность

(Заметка по поводу статьи В. Преображенского
«Фридрих Ницше. Критика морали альтруизма»)

Статья В. П. Преображенского «Фридрих Ницше. Критика морали альтруизма», помещенная в предыдущем номере «Вопросов филологии и психологии»¹, обратила на себя особое внимание читателей и произвела довольно сильное впечатление; думаю, что она этого вполне заслуживала не только в виду талантливости и блестящего изложения ее автора, но и вследствие глубокой оригинальности и смелости идей того мыслителя, которого он излагает. При первом знакомстве с воззрениями Фридриха Ницше, они сразу поражают своею законченностью, цельностью, как бы железною последовательностью. И тогда тем более странными и безотрадными представляются его выводы, — мрачные, беспощадные ко всему, что до сих пор было самым святым для людей, — человеконенавистнические до цинизма.

Верно ли это первоначальное впечатление? Теории Ницше так ли последовательны и связаны между собою, как это кажется с первого взгляда? При более внимательном размышлении приходится оценить его идеи несколько иначе. Автор статьи справедливо замечает: «...у редкого мыслителя можно найти так много противоречий, как у Ницше» *². Действительно, логические противоречия между отдельными положениями Ницше иногда бросаются в глаза даже в стройном изложении г. Преображенского, — их оказывается еще гораздо больше в собственных произведениях Ницше при свободной форме, в какой они написаны. Что сказать о мыслителе, который, с одной стороны, утверждает, что общепризнанной цели у человечества нет, что нет единственной нравственно-спасительной морали,

* Вопр<осы> фил<ософии> и псих<ологии>. Кн. 15. С. 115.

что свободный человек прав, даже когда он совершает зло, а несвободный человек, слепо повинующийся предписаниям, которые он не сам составил, есть позор природы, — и который, с другой стороны, видит в возможно высоком могуществе и великолепии человеческого типа и человеческой природы высшую и всеобщую цель человеческих действий, — который, ради этой цели, огромное большинство людей осуждает на постоянное рабство, — который, наконец, предписывает воспитывать это большинство в таком настроении, чтобы оно покорно приносило в жертву свою свободу и свою личность на служение изящной, но в то же время жестокой и эгоистичной аристократии человечества? Как помирить многократно выраженный у Ницше взгляд на человека, как на автоматическую игрушку стихийных влечений, обыкновенно даже и не подозреваемых им в себе, с признанием того же человека за свободного творца, который один способен и поэтому должен дать смысл мировой жизни? Философа, высказывающего подобные утверждения зараз и с одинаковым одушевлением, очевидно, нельзя назвать ни строгим, ни логичным. Сходное замечание придется сделать и тогда, когда всмотримся в аргументацию Ницше: в большей части случаев она очень слаба, — лучше сказать, ее совсем нет, чему немало помогает афористическая форма рассуждений Ницше. Обыкновенно все вопросы у него решаются или каким-нибудь остроумным сближением, или ссылкой на возможные частные факты, хотя и входящие в сферу данного понятия, но явно его не исчерпывающие*. В последнем результате, в сочинениях Ницше мы имеем какую-то субъективную *лирику* мысли, почти всегда блестящую, нередко фантастическую, но в которой очень трудно разыскать концы и начала.

Однако, если мы и поймем это, проповедь Ницше не потеряет для нас своего обаяния. Значение Ницше не в какой-нибудь строгой и определенной системе понятий. Едва ли кто станет читать книги Ницше с целью найти у него прочное решение каких бы то ни было философских проблем; чтобы искать у Ницше положительных идеалов жизни, нужно быть таким же больным человеком, как он сам. И все же, никак нельзя отвергнуть чарующего впечатления на ум, производимого очень многими его размышлениями. В чем же сила Ницше?

* Типические тому примеры представляют выведение *сострадания* из чувства *силы*, *нежности* из чувства *мести* (Morgenröte, 135), чувства *красоты в природе* из человеческой *боязливости* (ibid., 139) и т. п.

Мне кажется, она коренится в том, что можно назвать *большой искренностью* его отрицания. Этика теперь занимает совсем особое место среди других философских дисциплин. В истории мысли за последние три века наблюдается один очень знаменательный факт. Отважный, ни пред чем не отступающий скептицизм составляет наиболее характерную тенденцию новой философии. И эта тенденция не только не ослабела, и она не только не привела еще (как бы следовало надеяться) к каким-нибудь *новым* положительным решениям высочайших проблем мысли, — напротив, в переживаемое нами время философский скептицизм и отрицание захватили так много и приняли такие формы, которые не так давно еще могли бы показаться совершенно невероятными. Мы не только сомневаемся, но и прямо, не задумываясь, отвергаем существование пространства и времени; всякую зависимость между вещами и между их явлениями мы охотно превращаем в пустой обман нашего мозгового аппарата; и самый этот аппарат, и наше собственное я, и все, что в нем происходит, да и весь мир в придачу — мы иногда без всякого спора готовы объявить субъективным беспочвенным сновидением, которое грезится неизвестно кому; мы считаем за величайшую метафизическую наивность предполагать, что наша мысль и наша воля оказывают хотя бы малейшее влияние на наши действия, — и последовательно проводя такое мнение, бываем готовы существование воли и разума у наших ближних признать за не менее наивную метафизическую гипотезу. И всю эту пеструю совокупность удивительных и фантастичных отрицаний мы провозглашаем высшею человеческою мудростью и называем ее внушительным именем *научной, критической философии*. Но мы быстро меняем свой тон, когда дело коснется вопросов нравственности. Этику щадят все школы. Правда, и в ней многое подвергнуто сомнению. Основание морали, ее верховная цель, мотивы нравственных требований, толкуются в разных партиях очень различно; но при этом не решаются затрагивать *содержания* общепринятых нравственных предписаний. В этом случае моралисты как бы сговорились охранять сущность этически обязательного от всяких разрушительных покушений: гуманный христианский идеал стоит теперь, пожалуй, выше, чем когда-нибудь.

Этот факт едва ли нуждается в *практическом* оправдании. Но какова его логическая цена? Допускает ли он *теоретическое* оправдание с точки зрения господствующих идей о существующем? Вот в этом пункте, кажется, нужно признать правым Ф. Ницше, хотя, конечно, не в том, что он утверждает, а

лишь в его сомнениях. Столь распространенная среди нас двойная бухгалтерия в вопросах морали есть великая непоследовательность. Как мы думаем о действительности, так, неизбежно, и относимся к ней: теоретическое отрицание не может не отражаться на целях нашей деятельности. Неограниченный скептицизм в знании, — если он усвоен серьезно и от всей души, — неудержимо ведет за собою неограниченный скептицизм в нравственных понятиях. Какой может быть *безусловный* нравственный долг, когда нет ничего безусловного на свете? О каких толковать предписаниях и требованиях, обращенных к нашему *я*, когда само это *я* есть чистый призрак * и когда в человеке не только нет реальной свободы, но нет и признаваемой детерминистами способности между борющимися мотивами избирать сильнейший? ** Что добро и что зло, — зачем различать между позорным и высоким, когда всякие подобные различия лишь человеческая выдумка, притом, — если всмотреться в исторический процесс, — выдумка, возникшая из самых низменных, животных побуждений? *** Почему люди должны любить своих ближних, и какие могут у них существовать обязанности к этим ближним, когда всякие нравственные обязанности изобретены человеческим обществом с своекорыстной целью, чтобы превратить отдельную личность в свое слепое, бессмысленное орудие? Заглушим свою совесть и будем свободны. Вот что проповедует Ницше в своих искренних афоризмах. В этом его значение: он сказал *почти* последнее слово в морали для того философского направления, к которому он принадлежал. Говорю *почти*, — потому что он все-таки пытается построить некоторый положительный идеал деятельности, который, по его мнению, должен всецело пересоздать историческую жизнь и само человечество. Однако и в решении этой положительной задачи Ницше весьма поучителен: его противоречия — необузданный, несерьезный, можно сказать, истеричный характер его окончательных заключений — лучше всего доказывают, что на той почве, на которой стоит Ницше, никакая мораль не мыслима.

Если мир таков, как его представляет огромное множество современных людей, тогда никакой общечеловеческой нравственности нет, и наши идеалы *свободны*, — единственно, впрочем, только в том смысле свободны, что их диктует и должна

* Morgenr., 108.

** Ibid., 120.

*** Ibid., 5, 25, 41, 82.

диктовать наша личная *прихоть*. Прежде это решались высказывать лишь немногие разрозненные голоса, теперь они становятся все многочисленнее. Между ними голос Ницше — один из самых громких. Не обинуясь, следует сказать, — что в этом немалая его заслуга: последовательность есть главная добродетель философа. Философская мысль в наши дни стоит на распутье. Мирозерцание механического натурализма договорилось до конца во всей своей резкости и в своем беспощадном отрицании наиболее первоначальных убеждений человеческого разума. Приходится или признать его таким, каково оно есть, безо всяких чуждых цветов и украшений, или искать новых горизонтов для философского мышления. Пред современными философами лежит огромная и действительно *критическая* задача. Но замечательно: она очень редко сознается в своей глубокой важности и неотложности. Мне кажется, что двойная бухгалтерия в нашем отношении к вопросам нравственной и теоретической философии является тому главною причиною. Я не хочу этим сказать, что содержание наших философских выводов должно с первых шагов определяться нашими нравственными идеалами и влечениями, и что вся задача метафизики сводится к построению возвышенных фантазий, удовлетворяющих наше нравственное чувство; трудно придумать более уродливую цель для философских изысканий. Но я думаю, что если бы мы больше чувствовали нравственный смысл наших теоретических взглядов и их глубокую нерасторжимую связь с нашими нравственными воззрениями, — мы относились бы к коренным вопросам теоретического знания живее и серьезнее. Нам все представляется, что каким бы мир ни был и из чего бы ни слагалось наше собственное существо, законы правды и добра, непосредственно очевидные в своей обязательности, навсегда останутся при нас, как наша вечная, неотъемлемая собственность. Такие писатели, как Ницше, разрушают эту иллюзию, — этим они несомненно содействуют жизненной и твердой постановке основных проблем философии.

